

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ



ЛЕСНОЙ КЛЕВЕР

РАССКАЗЫ

Наша повозка, застланная охапкой свежевысушенного сена, двигалась медленно на фоне затопленного туманом леса. Лошадь, понуро опустив голову, устало брела по знакомой тропинке. Я вслушивался в тишину. Буквально три часа назад в этом сосняке протяжно, хрипло и гулко ухал филин. Теперь птица молчала. Покой проснувшегося леса нарушал лишь скрип колес да довольный Василич, то и дело поправляющий в телеге косу и грабли, подпихнутые под сено.

Василич сидел ко мне спиной. Но я чувствовал, с каким радостным настроением он возвращается домой после удачной косьбы. До работы оставался час времени, а он успел накосить четыре небольших копенки душистой травы. Я расстелил ее граблями по лесной опушке — пусть просохнет.

Место для сенокоса Василич нашел вчера вечером, а уже сегодня он поднял меня спозаранок на косьбу, переживал, как бы кто из деревенских мужиков не оприходовал эту лесную полянку раньше него. Конюх дядя Коля по прозвищу Индюк разрешил взять лошадь. Добравшись до приметного места, Василич с ходу прыгнул на землю, сунул мне в руки грабли и ловко замахал косой. Под рубахой у него заметно зашевелились бугры мышц. От торопливого ворошения травы у меня взмокли спина и лоб.

ГРЕШНЕВИКОВ Анатолий Николаевич, политик и писатель, родился в 1956 году на Алтае. В 1982 году окончил Ленинградский государственный университет им. Жданова по специальности “журналистика”. Работал журналистом, избирался народным депутатом Ярославского областного Совета. В 1990-1993 гг. — народный депутат РСФСР, член Верховного Совета. Избирался депутатом Государственной Думы РФ семи созывов. Член Союза писателей России.

Возвращение домой после тяжелого труда скрашивает тишина лесного царства. Вдоль дороги стоят редкие рослые сосны, огороженные березами, как белой изгородью. От теплого свежего воздуха меня тянет ко сну. Но безбрежный вершинный шум деревьев, то затихающий, то вновь зарождающийся, принуждает бодрствовать.

— А ну-ка, Буян, постой, остановись, — неожиданно резко скомандовал лошади Василич. — Что я тут вижу..?

Буян встал, как вкопанный. Конюх при мне предупреждал Василича, что лошадь не любит крика и ругани, а тем более кнута и управления вожжами, ей достаточно одной команды.

Я решил, что Василич увидел филина, ту раннюю птицу с рыжим и серо-охристым окрасом, что наблюдала за нами по дороге на сенокос. Я тогда заметил, как она, прижавшись к стволу, ловко замаскировалась среди еловых лап и шевелила торчащими на голове пучками перьев — ушами. На широкой ее груди заметно виднелись струйчатые поперечные рисунки.

Обшарив глазами ближайшие кроны деревьев и ничего в них не обнаружив, я недоуменно набросился на Василича:

— И где он, этот твой филин?

— Какой филин? — переспросил Василич.

— Ты же сказал — я вижу...

— Клевер я вижу вон...

— При чем тут клевер?

— Корова наша очень его обожает.

Василич подошел к полянке, где яркими розоватыми головками цвел луговой клевер. Его пышные шапочки невозможно было не заметить. Все глухие уголки в округе от них преображались. Однако, если бы не Василич, я бы на них не обратил никакого внимания. Мало ли кругом растет разных привлекательных и празднично нарядных растений.

— Эх, нет, это не просто трава, это полезная трава, — заговорил вдруг скороговоркой Василич, разгадав, по всей видимости, мое недоумение. — Одним словом — лекарство. Понимаешь? Лекарство! И грех проходить мимо него.

Василич обошел поляну вокруг и принялся быстро-быстро освобождать траву от сухих сосновых веток. Понятно было — бережет косу. И только я подумал об этом, как Василич сволок с телеги холщевый мешок, взял косу и пошел за клевером.

Косил он осторожно, без должной размашистости. Тяжелый клевер не позволял делать широкий размах, нависал на лезвии. Сыроватый, темно-коричневый клевер сбивался не в валок, а в кучу. Я попытался помочь Василичу и руками нарвать той лекарственной травы, ради которой он остановился посреди леса, благо, рядом с его полянкой я обнаружил еще небольшую розовую клумбу. Первая попытка оказалась неудачной. Приглянувшиеся мне прямостоящие растения было выдрать нелегко, так как их оплел дикий мышиный горшок, крепкий, как проволока. Пришлось приложить усилия. Сорванную охапку травы я положил на телегу.

Над лесом в белесых размывах клубилось широкое небо.

Только Василич закончил втискивать и утрамбовывать клевер в мешок, как прямо перед его носом появился лось с горбатой мордой и отвислой верхней губой. Не боясь ни людей, ни лошади, фыркнувшей от неожиданной и неприятной встречи, дикое животное уставилось большими любопытными глазами на косца. Глядело долго, и, кажется, с осуждением: только что была на полянке лакомая травка и вот ее уже нет.

— Поди прочь, — прикрикнул Василич, шумно взгромоздясь на телегу вместе с мешком. — Иди своей дорогой, этот клевер я первым нашел.

Лось послушал косца и быстро убрался восвояси.

— Откуда тебе известно, что ты раньше него нашел этот клевер? — задал вопрос я, в который раз поражаясь тому, как Василич интуитивно разгадывает мои мысли, в том числе, и мое предположение о том, что лось глядел на него с осуждением.

— Знаю, — по-детски улыбнулся Василич.

— Так откуда? — наседал я.

— От верблюда, — прыснул он опять от смеха. — Лось — та же корова, любит все полезное. Пришел бы он раньше, и клевер бы достался ему.

В дороге я вспомнил, как неделю назад Василич приносил уже откуда-то два мешка с клевером. Вытряхивал его в кормушку корове и смотрел, как та лихо и смачно уплетала его. Тогда мне и невдомек было, что там, в мешке, за трава, и зачем нужно искать ее в лесу.

Сегодня у коровы будет очередное лакомство и лекарство.

— Василич, а ты не пошутил, что корову можно клевером лечить? — задаю я вопрос, застрявший в голове. — И чем он полезен?

— Полезен и все, — медленно и безучастно ответил Василич.

— Нет уж, давай рассказывай, не зря же я охажу тоже нарвал.

— А чо тут рассказывать? Моя мать еще в старину давала клевер скотине. То в сыром виде, то отваром. На зиму порой собирала соцветия и сушила их на чердаке. А когда у коровы появлялись нарывы или она простывала, то мать делала отвар и давала его в качестве болеутоляющего средства. Оказывает он и хорошее противовоспалительное действие.

— Тогда тебе надо заготавливать и зверобой, и подорожник, и пастушью сумку. Я читал, эти травы тоже лечебные.

— Насчет подорожника не знаю. Его листья прикладывают к ране обычно, чтобы обезвредить ее и кровь остановить. А вот зверобой мать тоже заготавливала. Из него делала и отвар, и мазь для заживления ран и язв.

— Почему ж ты его не собираешь?

— А ты встречал в лесу поляну из зверобоя? — перебил меня Василич. — Не растет он кучно. А искать его по лесу у меня времени нет. Да и ни к чему. Клевера достаточно... Вон какую поляну я сегодня нашел.

Наш разговор о лекарственных свойствах клевера не выходил у меня из головы целый день. Вечером я даже засел за книги. Слова Василича подтвердились. За клевером числится много медицинских достоинств. Он способствует и улучшению плодородия почв, а еще чистит почву от тяжелых металлов. В природе, оказывается, живет клевер не только с розовыми и красными головками-соцветиями, но и с белыми, и называют его ученые ползучим из-за ползучего стебля или просто кашкой белой. Есть еще пашенный... Но о нем мало чего известно, да и не встречал я его в природе. Другое дело — ползучий или кашка белая. Во время чтения статьи о нем во мне не раз просыпались воспоминания о том, что где-то в лесу он мне попался на глаза. И вскоре я догадался, где видел это белоголовое растение. На той березовой опушке, где растут семьями крупные боровики, и которая окружена с одной стороны сосняком, с другой — полем, а с третьей — болотом.

На следующий день рассветной ранью я решил проверить себя, не ошибся ли с опушкой. Нашел ее сразу. И радости моей не было края — весь березняк, за стеной которого провисали простыни туманов, светился от белых соцветий знакомого мне растения. Кашка белая... Не знаю, откуда у нее такое прозвище. Вроде научное, а ни в одной книге нет объяснения, что означает слово “кашка”.

Нарвав букет, я долго рассматривал белые трубчатые цветки. Птичий гам и безлюдье уже хозяйничали в округе. “Интересно, — подумал я, — что творится в тканях этих растений, отчего одни соцветия-головки красные, а другие — белые? Вот лишил я жизни кашку, а какие изменения происходят сейчас в корнях и стеблях? Придет время, и ученые придумают аппарат, который сделает жизнь растений прозрачной, а человек расшифрует язык и растений, и птиц.

Правда, ничего лестного от них царь природы — человек не услышит.

И все-таки... Василич как-то говорил, что бесхитростный мужик полагает, что природа не может мстить человеку за его безобразия, а ежели происходят какие-либо катаклизмы, то гнев этот у природы беспричинный. Зря он, мол, так полагает. Природа не может не мстить человеку за его неразумность и хищность. В ее недрах всегда клокочет черный деготь мести. И пока человек не научится жить в ладу с природой, не будет согласовывать свои действия с долгом перед окружающим миром, а долг — с совестью, пока не воспыхает кипящей злобой негодования при виде браконьерства, природа не будет падать человека, ей просто будет не под силу остановить наводнения, засухи, оползни, цунами”.

Вспоминая разговор с Василичем о бесхитростном мужике, жаждущем перехитрить себя и природу, я почувствовал, что в душе защемила грусть. Невольно счел себя равнодушным вытапывателем лугов и опушек. Захотелось подняться с травы и вернуться домой. И тут, повернув голову в сторону болота, я увидел пару дремавших уток, беспечно уткнувших головы под крылья. Пришлось затихнуть, понаблюдать за птицами. Они долго спали. По высоким стеблям осоки пробежал игривый ветерок. На один из них села вдруг стрекоза, трепеща слюдяными крыльями. Казалось, что растения, да и сама стрекоза, шепнули уткам слова пробуждения. Но те были глухи к естественному привычному действию.

Опять вспомнился Василич... Вспомнилось, как он учил меня правильно заготавливать дрова, трелевать срубленное дерево. Он брал срубленную сосну за вершину и тащил ее вперед, показывая тем самым, как сохраняется лесной покров. Если тащить комель вперед, то он сдирает не только траву и мох, но и верхний слой живой земли. Говорят, человека следует учить радоваться красоте, учить тому, чтобы не знание опережало сознание, а наоборот. Василич не умел учить, потому и ничему меня не учил... Не говорил про любовь, про ответственность, про иные ценности, которые, по мнению педагогов, формируют личность. Я просто ходил с Василичем на сенокос, собирал в лесу грибы и ягоды, ухаживал за домашними животными... То, что он делал, я запоминал. И, оказывается, я научился слышать первый шёпот весенних проталин, различать сверлящий свист стрижей от свиста ласточек... Я узнал, что дятлы в случае беды переносят яйца из одного дупла в другое.

Дремавшие утки вызывали искреннее удивление. Пристав на колени, вытащив из травы румяную землянику и положив ее в рот, я полагал, что спугну пернатых соседей. Но не тут-то было. Тогда я встал в полный рост, укоризненно взглянув на смельчаков, вежливо кашлянул... Утки, не успев открыть глаза, со скоростью молнии метнулись в сторону болота. Пять-семь секунд — и след их простыл.

Облегченно вздохнув, что расставание с утками прошло на радостной волне, я побрел домой. Душа жаждала встречи с Василичем. Хотелось подарить ему новую клеверную опушку.

День клонился к закату. Сразу после работы Василич, не заходя домой, уехал тихо, чтобы лишний раз не попадаться на глаза соседям, в лес за вчерашним скошенным сеном. В совхозе существовал негласный закон, что косить сено для личного хозяйства директор разрешит только тогда, когда мужики заготовят сено для общей фермы.

Та минута встречи с Василичем, которая произошла у меня сразу по возвращении его из леса, лучше бы не состоялась... Он молча распряг лошадь, непослушными ногами дошагал до дома, присел на скамейку и жадно закурил. Его твердо сжатые губы, неподвижный взгляд придавали лицу суровое выражение. Через пару минут он уже смотрел как-то задумчиво-рассеянно. И лишь нехарактерная бледность продолжала разливаться по сухим щекам. Какое-то душевное затруднение мешало мне заговорить первым.

— Украл, выходит, все сено, — пробормотал он нехотя.

— Какое сено? — недоуменно спросил я.

Вступать в разговор Василичу не хотелось, и взгляд его уперся в землю. Время тянулось мучительно долго.

— Неужели пропало то сено, что мы с тобой вчера заготавливали? — догадался я о пропаже.

Он кивнул головой.

— Как же так! — вырвалось у меня. — Быть этого не может! Там никто нас не видел. Может, ты перепутал место, в другое приехал, а твое сено лежит-полеживает на прежней опушке?

Сердитый взгляд Василича остановил меня.

Мне ничего не оставалось делать, как попытаться пошутить и шуткой сгладить беду.

— Ладно, не горюй, там и сена-то было не ахти много, завтра пойдем — больше накосим.

Но ответом опять была немая тишина, в теплом и влажном воздухе давящая на уши, как в бане.

— Сено твое, скорее, не украли, а лось съел. Помнишь, как он мрачно наблюдал за тобой, когда ты опередил его и скосил клевер... Вот он нашел нашу поляну и в отместку сжевал весь укос...

— Мели Емеля — твоя неделя, — проворчал сердито Василич.

Его загрубевшие руки со скрытыми под кожей натруженными мозолями лежали на коленях. По ночам украдкой выезжать за сеном в лес ему было тяжело: глаза смыкались от недосыпа, тело еще не успокоилось от дневной тяжелой сборки бревенчатых домов в соседней деревне, куда их бригаду снаряжали целый месяц, ноги гудели от напряженной усталости и подкашивались на ходу. На опушках едва-едва проступал свет сквозь крошечную тьму, а его коса уже звенела, срезая сочную траву. Столько сил, здоровья уходило на внеурочный труд, на то, чтобы не оставить корову зимой без корма, дать ей душистого сена и в ответ получить нужные большой семье молоко, сметану, сыворотку, творог! А тут приходит на твою поляну ворюшка и стаскивает чужое сено, не приложив к заготовке никаких усилий, глумится над твоими заботами и тревогами, сидит теперь дома у окна, развращенный ленью, и посмеивается.

— Пусть подавятся, — продолжаю бубнить я, прекращая шутить.

— Знаешь, мне на днях бригадир предложил вступить в партию, — вдруг переменял тему Василич, сокрушенно вздыхая. — Надо, мол, готовиться к жизни в коммунизме. А я его спрашиваю: “А сколько мне будут приплачивать к зарплате за то, что я вступлю в партию?” “Ты, Василич, — заорал бешено бригадир, — находишься в нравственном тупике, не понимаешь линию партии...” “Да нет, — говорю я, — это вы в нравственном тупике. С одной стороны, запрещаете крестьянину сено косить на свою корову, а с другой — запретили выписывать молоко на ферме. Скажи, чем мужику деревенскому кормить семью? Разве это по-коммунистически, когда в прошлом году вы выгребли у меня из сарая все сено, которое я ночами косил, увезли на совхозную ферму, а меня, плотника, построившего десяток домов для совхоза, и моих троих ребятшек обрекли на голод?! Да-а, я успел перед тем, как выпасть снегу, накосить с вашего позволения пару копеночек... Но эту пожухлую траву корова ела с таким отвращением, с таким презрением к жизни, что вам лучше не знать”.

Рассказ Василича разбередил мне душу. Ночью я долго не мог заснуть, пытался найти ответ на вопрос, по какому такому закону крестьянину непозволительно косить сено для своей буренки в выходной день или после работы. И как так получается, что не бригадир и не директор, а простой плотник Василич знает, что крестьянский труд тем и отличается от заводского, что он сезонный и его следует выполнять ко времени. Если подшипник к машине можно выточить и в дождь, и в снег, то сено заготавливают только в пору готовности травы и в теплую погоду. К тому же, Василич больше них понимает, что сенокос — пора ответственная, требующая максимума старания и смекалки, а не директивных указаний, что чем сытнее накормишь корову, добавишь ей в рацион отвара из лекарственного клевера, тем больше будет надой, а значит, и доход семьи.

Долго мучили меня и всякие нелепые подозрения. А не сам ли бригадир своровал у Василича сено с лесной поляны?! Если в прошлом году у него хватило наглости опустошить его сеновал, то почему бы и сейчас не нагадить сноровистому плотнику? Усердно размышляя над этими вопросами, я склонялся к мысли, что вором был все-таки бригадир, выследивший каким-то образом нас в ту ночную поездку на лошади в лес. Моему нарушенному душевному покою и измученному сердцу нанесен был последний удар. Уснул я лишь к утру.

На следующий день я побежал искать конюха дядю Колно. Прозвище Индюк односельчане дали ему то ли за долговязый рост и важную походку, то ли за грозный вид и резкие суждения в разговоре. Меня вдруг осенила радостная мысль: а не сгладить ли горе Василича тем, что съездить в лес на знаменитую опушку, накосить там белоголового клевера и привезти ему большой воз в подарок? Заодно насолить бригадиру, показать этому бездушному существу, что есть и другие справедливые законы жизни в деревне.

Конюха удалось застать в огороде среди неровных грядок, зеленеющих ботвой картофеля и кудрявыми султанчиками моркови. Он за последние годы крепко сдал. В приземистом старике, обветренном, высушенном и выдубленном морозными сквозняками в конюшне, едва угадывался тот дядя Коля, который катал нас, мальчишек, на лошадях по пыльным сельским дорогам.

Я рассказал ему без утайки про украденное сено у Василича, про свой план с клевером и попросил лошадь. Постоянная серьезность, с которой я вел разговор, видимо, произвела на конюха впечатление, и он согласился дать мне лошадь.

— Запрягай вон Буяна и поезжай, — скомандовал дядя Коля. — Приедешь, поставь его на место.

Легко сказать — запрягай, будто я знал, как это делается, будто позавчера не Василичу, а мне пришлось справляться с Буяном.

Страх и робость не успели парализовать мою волю, на помощь вовремя пришли уроки Василича. Я вспомнил, как ему ловко и расторопно удавалось запрягать лошадей.

Найдя в конюшне стойло с Буяном, я подошел к нему и протянул кусочек засохшего пряника, завалившегося в кармане. Лошадь молча уткнулась мне в ладонь, слизнула шершавым языком сладость, и я стал гладить ее по морде, по обманчиво мягкой гриве.

— А не сделать ли нам доброе дело, Буян?! — ласково завел я разговор с четвероногим другом, продолжая его поглаживать. — Не съездить ли в лес?.. Там, на живописной поляне, растет много-много сочного клевера. Знаю, тебе он очень придется по вкусу.

Без особого труда я вывел Буяна на волю, подвел к телеге, оглобли которой лежали, уткнувшись концами в землю. Зато хомут, хранящий острый запах лошадиного пота, пришлось тащить почти по земле, держа его двумя руками.

— Ну что, Буян, давай делать все по порядку, как учил нас Василич, — напряг я лоб, пытаясь вспомнить очередность действий. — Двигайся давай задом к телеге, заходим в оглобли... Молодчина. Все так...

Хоть Василич меня и не учил специально тому, как запрягают лошадей, но я часто пристально наблюдал за ним, потому помнил каждое движение его рук.

Надев на Буяна хомут, седелку, я остановился вытереть выступивший на лбу пот и передохнуть. Непростое это занятие — впрячь лошадь в телегу. Василич рассказывал, что у него в первые разы случалось, что хомут натирал животному шею до крови. Затем я поднял по очереди оглобли и начал запрягать. С силой, через ногу, стянул клецевину хомута, кряхтя замотал и заправил сыромятную супонь, подседлал, завожжал и громко, удовлетворенно рассмеялся.

— Могем, ежели захочем, — вырвались знакомые поговорки из моей груди. — Труд создал человека.

Поговорки эти Василич часто вставлял в разговор на любую тему.

Через пять минут телега заскрипела, застонала и двинулась вперед. На лице конюха я заметил холодную рассеянность, тотчас сменившуюся на озорной восторг. По всей видимости, он не ожидал от меня такого лихого обхождения с лошадью.

— Но-но, пошел, Буян, пошел быстрее! — понукал я, тихонько стукая его откормленные бока вожжами.

Какая-то слепая сила с острой злостью гнала меня вдаль. Решительность и безграничная уверенность в правоте своих действий придавали мне силы. “Только бы успеть, только бы никто не обкосил раньше меня примеченную опушку с клевером”, — трепыхалась тревожно в моей голове одна и та же назойливая мысль. В такие минуты лошадь бьет вожжами по хребту и подгоняют, но у меня не поднимались руки причинять Буяну боль. Я лишь угрожающе поднимал вожжи и стегал ими воздух. Буян понимал меня, прижимал уши и ускорял ход.

Клеверная поляна ждала меня в целости и сохранности. Я привязал лошадь к березе, обросшей иван-чаем, кинул ей под ноги клочок сорванного

клевера и присел на высокий бугорок... Вокруг меня царствовала природа во всей своей первозданной красе, вознеся к небу верхушки старых берез, одичавших яблонь, неизвестно откуда здесь зародившихся. Вдали стояли могучие сосны. Прямо у самых ног вытягивались в шеренгу свежие белые ромашки, по их стеблям, повитым вьюном, сновали муравьи. Точно такие же белые по цвету, но мелкие по размеру, и в большом количестве глядели на меня головки лесного клевера. Знают ли они, что я приехал за ними...

Сорвав головку клевера и вытащив из нее несколько тычинок, я стал слизывать нектар и закрыл глаза от блаженства. То моя давняя привычка — угощаться дарами леса, пить росу из листьев манжетки, жевать застывшие капли сосновой смолы, есть стебли дудника и листья подорожника. Из рассказов бабушки я знал, что семена пастушьей сумки лечат желудок, а листья подорожника очищают организм от шлаков. А вот про обычную скромную белую кашку, окружившую меня на поляне, я узнал от Василича, начитавшегося газет, что ученые называют ее не только клевером-чистильщиком, но и металлосборщиком. Оказывается, это растение накапливает в своих тканях редчайший металл — тантал, который является ценным сырьем для электровакуумной промышленности.

Лес продолжал успокаивать меня, отвлекать от тягостных мыслей. Я находился в совершенном уединении, радовался тишине и бросал в рот вкусные белые тычинки клевера. Что-то мучительно сладкое разлилось по телу, а потом кольнуло в сердце. Пришла пора браться за косу.

Я пристально всматривался в опушку в поисках места, откуда стоило пойти в наступление на траву. Василич обычно начинал косьбу с конца дуга, чтобы не ослаблять скорость движения и видеть начало. Точно так же поступил и я. Взявшись за рукоятку косы, взмахнул ею легко и непринужденно, лезвие тотчас сверкнуло в воздухе и с резким звоном вошло в траву. Легко прорвавшись сквозь стену густого клевера, оно пошло на один повтор, на другой, на третий. Невысокие валы скошенной травы ложились в один продолговатый ряд.

Первые минуты я не чувствовал усталости. Наоборот, в душе зарождалось гордое сознание своей удали, своего мастерства. Вскоре я почувствовал, как кровь отлила к сердцу, и на лице появилась ощутимая внезапная горячая краска. Останавливаться мне не хотелось. Коса резала клевер, и он шумно поддавался, ложась на землю.

Небо над опушкой то заволакивалось рыхлыми белесыми облаками, то расчищалось ветерком и обнаруживало тревожную глубину и радостную синь.

Когда я дошел до центра опушки и скосил у березок белую кашку, из-под моих ног неожиданно выпорхнула перепелка. Сердце застучало, будто часы, и успокоилось, когда робкая птица, пытаясь возвысить голову над травой, вытягивая при этом шею, прихрамывая, скрылась в небольших зарослях зверобоя. Прежде чем скосить зверобой, я осмотрел это место. Вместо перепелки обнаружил там подберезовик. Я с осторожной нежностью сорвал его, расшатал в земле ножку, и почувствовал, как упругий гриб холодит ладонь.

Встреча с перепелкой оказалась не единственной. На краю опушки, за ивняком, сквозь заросли которого проросли молодые березки, вдруг показалась громадная голова лося с наглыми глазницами. Он смотрел в мою сторону так продолжительно, будто ждал, когда я удалюсь. Наверняка он долго наблюдал за моей работой, за тем, как я провожал взглядом перепелку и срывал гриб.

Пришлось свистнуть и припугнуть лося. Тот неуверенно неуклюже, лениво поковылял прочь, показывая всем видом, что на испуг его возьмишь. Тогда я крикнул громко:

— На дармовщинку смотришь. Фига тебе, а не клевер. Я сегодня же его увезу, гуляй себе в другом месте.

Лось развернул в мою сторону широкий лоб и сверлящим взглядом еще раз продемонстрировал свою силу. Усиливающийся крик человека вынудил его прибавить ходу, удалиться, сокрушая кустарники непомерно длинными ногами.

Наконец-то настала очередь отдохнуть. Я присел на край телеги. Зверье и птицы попрятались в лесу. Буян в который раз глянул на меня с осуждением... Зачем, мол, свистеть и кричать. Лось сам уйдет. А так напугал

и меня, привязанного к трепетной березке, и неожиданного гостя с рогами на голове. Треск обломившихся ивовых веток, убегающая черная спина лося крепко напугали Буяна. Его тело дрожало минут пять.

Когда на моих руках чуть успокоились появившиеся мозоли, я продолжил покос. Движения моих рук были уже не так размашисты и точны, как прежде. И все-таки я уверенно держал косу и продолжал валить клевер. К моему удивлению, в валках появились не только стебли вереска, но и головки другого клевера – красно-бордового. Они были крупнее и слаще. Я пробовал их соцветия на вкус. Во рту у меня пересохло, и так как под рукой не оказалось привычного стакана густого, светящегося янтарным светом чая, то я съел не один десяток сладких тычинок.

Скошенный на опушке клевер я сноровисто закидал вилами на телегу. Получилась большая копна. Чувство выполненного долга переполняло душу. С радостными воплями я вскарабкался на вершину клеверной пирамиды и взмахнул вожжами. Дорога домой после опустошительного вторжения на опушку всегда легка и приятна. Про то знал и Буян. Его натруженные ноги понесли телегу со мной по знакомой заросшей дороге.

Нигде так много и хорошо не думается, как сидя в копне свеженахнувшего клевера. Мысли то роились, как пчелы на пасеке, то бились, как червяки на крючке. Вот въеду я сейчас в деревню, а навстречу выйдет бригадир с вспыхнувшей на лице завистью, испепеляющей его чувства и мысли. Проеду мимо него молча, с презрением. У двора встретит меня Василич. Он посмотрит на меня воспаленными покрасневшими глазами и спросит: “Это ты мне привез клевер?”. Я улыбнусь и утвердительно кивну головой. Тогда он поправит кепку на голове, и на его лице загорится вежливая, слабая улыбка. Несказанным счастьем залется тогда мое сердце.

Въехав в деревню, я отогнал от себя все назойливые мысли. Время хоть и было послеобеденное, несвободное от работы, но я ждал состыковаться с бригадиром, презрение к которому польхало в груди ярким костром, но его неуклюжая фигура нигде не показывалась. И сам Василич еще не пришел домой.

Я свалил у двора Василича копну лесного клевера. Она вышла не такой большой и значимой, как мне казалось раньше. Пришлось вилами сбить траву в более высокую кучу. Лесной ее запах тотчас разносила корова, подав со двора жалобный голос. Я порывался поделиться с растревоженным животным привозным клевером, но пожалел. Копна тогда стала бы еще меньше, и подарок Василичу оказался бы незначительным.

Отведя Буяна на конюшню, я, вытащив из дома табуретку, присел на нее в ожидании... Василич появился вместе с другими уставшими плотниками. Увидев меня и копну свеженакошенного клевера, он удивленно спросил, разведя руки по сторонам:

– Откуда это богатство такое?

– Из леса, вестимо, – выпалил шутливо я. – Лось вернул должок.

Давно я не видел такого улыбчивого и доброго лица Василича. То, может, была самая редкая его улыбка.

ПОДШИТЫЕ ВАЛЕНКИ

Вокруг дороги все было покрыто пушистым снегом. Я шел в школу и чем дальше продвигался, оставляя за спиной березовые перелески и белые простыни полей, тем острее ощущал желание свернуть в сторону, пропустить уроки, как это случилось вчера и позавчера. Наверняка учительница Мария Александровна будет ругать за прогулы, стыдить перед всем классом, обзывать лентяем, и краска стыда залетит все мое лицо, а в коленках появится неприятная досадная дрожь. Валерка Гладышев вместо сочувствия будет строить ехидные гримасы и отпускать колкие шутки.

Лучше, конечно, и сегодня прогулять уроки, чтобы избежать правоучительной порки. Но ведь в школу все равно придется идти, и растягивать переживания до другого дня не имело смысла. К тому же, вчерашние прогулы объяснялись уважительной причиной — у меня прохудились валенки, а иной обувки идти в мороз в такую далёкую школу не было. Сегодня валенки подшиты и, значит, прогул в школе ничем толковым не объяснишь.

Назойливые мысли о том, как меня будет отчитывать учительница, переставали преследовать лишь тогда, когда я переключался на наблюдения за природой. В кронах берез суетливо порхали в поисках пищи самые маленькие синички — гаечки. На краю поля, проснувшегося от морозной ночи, бегала плутовка-лиса. Она то скребла снег лапой, то судорожно засовывала морду в разрытую норку. Вдруг на поверхность выскочила мышь, ткнулась в снег, вся дрожа мелкой дрожью, и тихо запищала. Рыжая бестия подпрыгнула, как мячик, и молнией бросилась на нее.

Холодоватый воздух вскоре наполнился затяжной тишиной. Редкие снежинки ровно опускались с неба на землю, без всякого усилия и торопливости. Я прислушался к их полету, но все было бесполезно — они падали беззвучно.

Дорога завернула в деревню Вертлово. У колодца с ведрами в руках стоял дед Федор по фамилии Жильцов. В летние дни я частенько заглядывал к нему в гости полюбоваться солдатами-ветряками, вырезанными из дерева. Он даже подарил мне одного из них за пятерку по ботанике.

— За какими отметками идем? — спросил дед голосом, в котором слышалось любопытство глубоко неравнодушного человека.

— За пятерками, — без раздумий сухо ответил я.

— Неужели за пятерками, едрена-корень? — переспросил дед, и его круглое лицо расплылось в улыбке. — Эт-т мы еще посмотрим... Ты на обратном пути не забудь, покажи мне дневник.

По привычке я подошел к колодцу и напился легкой ледяной воды из ведра, привязанного к срубу. На обратном пути я делал то же самое, с единственным отличием — по дороге покупал в магазине в деревне Лехоть на десять копеек, что давала мне мать, два пряника с четвертинкой. Отрезанный на моих глазах продавщицей душистый ломтик-четвертинку я мгновенно, выйдя за порог, бросал в рот. Один пряник смаковал по дороге. А третий, последний, ел в деревне Вертлово, запивая его колодезной водой.

Дед за осень похудел, глаза его ввалились, походка сделалась вялой, голос огрубел. Окинув меня взглядом с ног до головы, он опять весело и озорно загоготал:

— Чует мое сердце, не видать тебе сегодня пятерки.

— Эт-т, почему? — сердито переспросил я.

— А не получишь и все.

— А вот возьму и получу.

— Как же ты ее получишь, ежели у тебя валенки на одну ногу, обе пары — левые?!

— Неправда, один валенок правый, другой левый, — запальчиво отбил нападки я. — Вот, смотри...

Я решительно выдвинул правую ногу вперед и, едва повертев носком валенка взад-вперед, тотчас убрал его назад. На верхнем носке валенка красовалась маленькая коричневая заплатка. Напоминала она прилипший осенний лист... Испугавшись такого сравнения, и того, что дед высмеет сейчас мои валенки, я бросился науток.

Дед вдогонку кричал:

— Смотри, ноги не сотри. Да слухай на уроках хорошенько учительницу.

Мимо меня промелькнули старенькие избы с дымящимися трубами, карнизы с выпиленными узорами, покрашенные наличники, фигурчатые столбы крылец. В этой деревне я застал и местные обряды в их полной, неторопливой гармонии, и песни старушек, и пастушью игру на деревянной дудке, и хороводы... Сейчас меня интересовало только одно: неужели подшитые Василичем валенки так смешно будут смотреться, что дед Федор решил поиздеваться над мной? Никакие валенки не одинаковые, они на разные ноги. Просто правый чуть покосился в сторону из-за твердой нашитой заплатки из кожи. Левый

тоже прошел ремонт: на нем аккуратно была наложена и прихвачена дратвой другая заплатка. Правда, она более громоздкая и заметная.

Продырявил я валенки в выходные дни на пруду во время игры в хоккей. Следовало нахлобучить на них резиновые калоши, но тогда бег превратился бы в тяжелое испытание, будто к ногам соперники привязали гири. Играли в хоккей мы с мальчишками не только в выходные дни, но и по вечерам. Сами очищали посиневший лед от снега, сами делали из березовых коряг клюшки. От сумашедшего бега и скольжения по льду, от частых резких и болезненных ударов клюшкой, наконец от постоянного отбивания шайбы валенки мои не выдержали и дали слабину. Дырки появились по-предательски сразу и заметных размеров, одна — на пятке, другая — на носке.

Дома я получил хорошую трепку от матери. Теперь ни выйти на улицу, ни сходить в библиотеку, а тем более в школу было не в чем. Да и морозы трещали немалые. Валенки были спасением. Полдня я переживал, сидя у окна, стыдил себя за потерянную обувь. На улице ходили мужики в фуфайках, бегали собаки, поджав хвост от морозца. А я продолжал изображать молчаливого сидельца, внутренне боролся с собой, восставая против безделья и одиночества. Спустя полчаса мне уже не хватало обычного общения. Через улицу в доме сидит вот так же у окна целыми днями, облокотясь на подоконник, тихая, пришибленная бабушка Колесова. У нее никого на свете нет, она одна-одинешенька. На стенах не висит ни одной фотографии родственников, все сгорело в старом доме, остался лишь из журнала портрет леонардовской Джоконды. Меня такая участь и такая душевная затхлость напугали. Я взял валенки и в который раз стал горестно рассматривать позорные дырки. Чем можно было их заделать, я не знал. Моего детского ума не хватало осилить эту беду. Сердце у меня заньло, губы задрожали. От бессилия и немощи на душе стало еще хуже. Глотая слезы обиды, я ничком бросился на диван и безутешно заплакал, зарыдал. Откуда-то пришла мысль, будто я на всю зиму останусь без валенок, буду сиднем сидеть дома и смотреть в окно.

На улице заметно пришла ночь, такая густая и беспросветная, какая возможна лишь в лесной деревушке. На обломанной верхушке старой березы повисла, будто фонарь, оранжевая луна.

Только я подумал, что из плачевной ситуации меня может вытащить лишь Василич, как его небольшого роста фигура появилась в проеме двери. Скидывая фуфайку, он со свойственным ему хладнокровием сказал:

— Крепчает мороз. Утром шел на работу — дым из трубы в колодьях улетал, а сейчас столбом стоит.

На бледном, энергичном лице Василича с заснеженными ресницами, с нависшими сросшимися бровями светились ласковые глаза. Подозрительно посмотрев в мою сторону, он добавил:

— И ветер вон как в окна поддает. Давно такого мороза не было.

Мне ни о чем не хотелось говорить. А поведать с ходу о своей беде, о прогулянном из-за дырявых валенок дне, я робел. Неизвестно, как воспримет Василич мои прегрешения. Лучше помолчать, выждать время и в нужный момент рассказать обо всем как на духу.

И когда такая минута настала, грудь спокойно задышала, я выпалил всю историю с валенками и взмолился о спасении. К удивлению, Василич не то, что не выругался, а даже косо не посмотрел на меня. Наоборот, сочувственно повздыхал, а затем спокойно и деловито проворчал:

— Подумаешь, беда. Дратва у меня есть, игла в наличии... Нет только кожи. Завтра возьму у Грамагина кусок и вечером залатаю тебе валенки, будут, как новенькие.

— А ты можешь? — с потаённой надеждой спросил я, не веря в то, что дырки на обуви можно чем-то залатать.

— Да я всю молодую жизнь валенки только и чинил, — тяжело вздохнул Василич. — То валял, то заплатки ставил.

В каждом слове Василича, во всем его облике сквозила уверенность. Она незаметно передалась и мне.

— Валял? А как это?

— Ну, то целая наука. Без умения и опыта валенки не получаются. Меня этому ремеслу отец перед войной научил. Сам сгинул на фронте, а знания свои оставил. Что бы я без них делал? С голоду бы помер. И мать, и отца, и дядьев — всех война забрала, не пожалела даже братишку. Остался, помню, я один с маленькой сестренкой. Вот и кормил себя да ее тем, что валял валенки.

— Ты умеешь до сих пор делать валенки?

— Так это вы, молодые, ни к чему не приспособленные. У вас там насчет крестьянских-то знаний и умений конь не валялся. А я, когда один на белом свете остался, без дома, без денег, без харчей, с одной лишь маленькой сестренкой, понял: без ремесла — никуда.

— Расскажи мне, пожалуйста, как ты валенки валял.

— Тебе-то зачем?

— Интересно ведь...

— Тогда садись, слушай.

Я присел на табуретку поближе к окну. Свет от лампочки падал на высокий лоб Василича, изборожденный морщинами. Он неуклюже присел рядом и уверенным голосом повел рассказ. Много было доброго, стариковского чувства в этих воспоминаниях.

— Сделать хорошие валенки непросто. Они не игрушка. Вырезать коня с гривой и посадить его на колесо, чтобы катился, можно за пару часов. А валенки, дай Бог, неделю работы требуют. Они последовательно, день за днем, проходят одну технологическую операцию за другой. Причем, все операции ручные... Тут проморгашь одну операцию, либо пожалеешь время для другой, и смотришь — нет у тебя валенок, первая пара разваливается прямо в руках, вторая ломается, получается грубой, жесткой, негодной к носке. Бывало, целый день уходит только на то, чтобы из шерсти сделать заготовку для будущей обуви. Заготовку ту я по десять-пятнадцать часов вымачивал в растворе серной кислоты, а потом закладывал в печной котел. Отец этот котел на ярмарке приобрел. Катать валенки следует только горячими. У меня руки все были обожжены, так как через каждые полчаса мне приходилось пихать заготовку в котел. И эту операцию я проделывал десятки раз. До ломоты в руках. Обжигающие заготовки бросал на валки и катал их до нужной кондиции, обрабатывая при этом прутом, еще колотушкой... Делал это на трех колодках, аккуратно, последовательно. Затем обработанные заготовки перебрасывал на большие и малые терки. Когда появлялись почти готовые валенки, я их красил, затем сушил, шлифовал, закаливал в огне. Понял, какой трудоемкий и тяжелый этот труд — валять валенки?! Пока они переходят из рук в руки, со счету собьешься. Зато радости при виде готовой обуви было хоть отбавляй.

После рассказа Василича я долго расспрашивал и задавал ему уточняющие вопросы, пытаясь постичь древнюю науку делать себе обувь, ту, что легка, удобна и не боится морозов. Промысел предков был так увлекателен, что ночью во сне уже не деловой Василич, а я сам валял валенки. Получалось все плохо, обувь разламывалась пополам. Одноклассник Валерка Гладышев беспрестанно хохотал, хватаясь за живот. А учительница Мария Александровна наклонилась вперед так, что глаза зеленые и сердитые стали близко-близко сверлить меня. “И тут ты набедокурил”, — заворчал ее голос. Не вынеся долгого и ядовитого разоблачения, я проснулся. Пот градом катился с горячего лба.

Следующий день принес успокоение и радость. Василич пришел с работы рано, принес большой кожаный лоскут и кинул его на пол.

— Давай, горе луковое, чинить будем твои валенки, — бросил он простодушный взгляд в мою сторону. — Где у нас ножницы? В столе, поди, давай, тащи их.

Я не знал, что означает “горе луковое”, но пулей полетел искать ножницы. Осмотрел всю мебель в доме, проверил ящики в столе и тумбочке... Утешение пришло, когда обнаружил их на телевизоре.

Василич присел на табуретку, пододвинув к себе другую. Разложил на ней по очереди нужный инструмент, ближнее место заняло шило с деревянной

ручкой. Его острый кованый наконечник внушал доверие. Далее расположились игла серебристого цвета, наперсток, перочинный ножик, клубок черной, как уголь, дратвы, ножницы и щипцы.

— А щипцы-то зачем? — удивился я при виде их.

— Язык тебе прищемить, чтоб помалкивал и не мешал, — пробасил Василич.

Тишина в работе была главной для Василича. Если другие плотники из его бригады любили посудачить или попеть песни во время строительства дома, то для него это было неприемлемо. Тут одно допустимо — либо топором орудовать, либо песни петь. И сено косил Василич в тишине, и лошадь запрягал, и огород копал — все без словословия. А вот как закурит в перерыв, так тут ему хоть рот зашивай, расскажет не одну байку из своей богатой биографии — про войну кровавую, про целину заснеженную, про сибиряков, которые умели выручать друг друга...

Мне ничего не оставалось, как замолкнуть и в тишине наблюдать, как Василич ремонтирует испорченные валенки. На стене монотонно тикали часы. Лохматый кот спрыгнул со струганой лавки, важно прошел по застираным разноцветным половичам и решительно запрыгнул на печку, недавно побеленную с добавлением синьки.

Заскорузлые пальцы Василича ловко вдели длинную дратву в иглу. Отрезанная кожаная заплатка мягко легла на продырявленную пятку валенка, который Василич сильно зажал между ног. Острая игла вошла в кожу и под давлением наперстка прошла валенок насквозь. Таким манером строчка за строчкой прошивалась заплатка. Стоило игле увязнуть в твердо свальной шерсти, как Василич в ход пускал щипцы, просовывал их внутрь обуви, стискивал иголку и вытаскивал ее вместе с дратвой. “Понятно, для чего щипцы нужны”, — подумал я, глядя на то, как быстро заплатка срастается в одно целое с валенком.

— Видишь, как красиво все выходит, — сказал Василич с оттенком самодовольства, заметив, что я люблюсь его работой.

— Не знаю, — пожал плечами я.

— Чего так?

— Заплатка-то вся на виду. Валенки серый, а заплатка коричневая. Ее бы закрасить.

— Ты у нас больно прыткий. Закрасить? Да кто ж так делает?!

— Никто не ходит в заплатанных валенках. Меня засмеют в школе.

— Ошибаешься. Еще как ходят. На прошлой неделе Тоське Рыжковой, соседке, чинил валенки, и она ходит, знай, форсит себе.

— Она большая.

— И что из того, что большая?! У тебя всю зиму ноги в тепле будут — вот что важно.

Моему разочарованию при виде готовых валенок не было предела. Глаза начали слезиться. Я заранее представлял, как Валерка Гладышев высмеет меня перед всем классом. Заплатки, конечно, сидели крепко, даже как-то ладно, обволакивая и пятку, и носок, будто лоскутное одеяло. И шов из дратвы напоминал оригинальную строчку из стежки-молнии на кофте. Но эти коричневые застешки смотрели на меня с таким укором, что я их уже не мог принять и проклинал на чем свет стоит.

По настоянию Василича, я прошелся взад-вперед по дому в заштопанных валенках.

— Жмут? — спросил Василич.

Мне не хотелось говорить. Хотя нога в валенках чувствовала себя свободно и легко, будто никакого ремонта и не производилось.

— Нитки внутри не мешают? — опять задал Василич вопрос.

— Нет, — нехотя пробормотал я.

Сдержав в себе ненужные, бесполезные слезы, я поставил валенки на печку, а сам лег спать. Завтра в школу, и ничего тут не изменишь, возражай — не возражай, а идти придется в любом случае. Валенки стояли перед моими раздраженными глазами, я пытался их загипнотизировать, чтобы они свалились на пол. Однако я представил себе, что останусь без них и в школу

придется идти в летних сандалиях... На улице пронизывающий холод, одеревеневшие ноги превращают каждый шаг в мучение... Нет, подумал я, пусть уж будут залатанные валенки, важно, как говорит Василич, чтобы ноги были в тепле. С этой мыслью я сразу заснул легким, беспечным сном.

Утром с тяжелым сердцем я отправился по заснеженной дороге в школу. Пока шел, все глядел на валенки. Заплатки все больше казались мне позорными нашивками.

...Наконец передо мной появилось школьное крыльцо. Я обмел веником валенки от снега, зашел в помещение и подождал несколько минут в раздевалке, чтобы войти в класс последним. В моей душе застенчивость боролась с решимостью, порожденной отчаянием, я стоял у дверей не в силах заговорить с одноклассниками, ни тем более открыть дверь.

И только когда следом за мной в класс вошла Мария Александровна, я немного успокоился. Никто из ребят не успел разглядеть мои валенки.

Учительница пристально обвела взглядом весь класс и тотчас остановилась на мне. Густые брови, чуть обвисшие над ее глазами, заметно вздрогнули, поднялись.

— Смотрите-ка, прогульщик наш дорогой появился, — громко сказала она. — Встань-ка, любезный мой, и скажи, почему ты отсутствовал два дня?

Мое сердце учащенно забилося. Соврать, что болел, нельзя, нужна медицинская справка. Правду сказать — ребята засмеют...

— Ты чего молчишь, в рот воды, что ли, набрал?..

Этот простой вопрос еще сильнее отозвался в сердце. Вдруг учительница улыбнулась, и я решил признаться:

— У меня валенки выбыли из строя, прохудились...

Договорить я не успел, как сидящие рядом одноклассники быстро повернули головы на мои ноги. Учительница тоже подошла ко мне и смущенно осмотрела валенки в заплатках.

Мои веки трусливо сомкнули глаза, и я замер в ожидании взрыва ребячьего хохота.

— Ой, как красиво у тебя подшиты валенки! — ойкнув от удивления, всплеснула руками Мария Александровна. — Кто ж у тебя такой мастер? Запечатальный мастер! Валенки будто новые.

— Это Василич, — выпалил я, набравшись смелости, твердым и уверенным голосом. — Он, знаете, всю жизнь валенки валял, а теперь чинит их всей деревне.

— Какой молодец! Наверное, и я попрошу его подшить мне валенки.

— Да он с удовольствием...

Тут меня понесло. Я зачем-то пересказал учительнице и всему классу, как Василич после войны спасался от голода тем, что валенки валял вручную... Меня никто ни разу не перебил. Рассказ слушали в тишине. Лицо учительницы округлилось от улыбки, просветлело, и она неожиданно предложила классу:

— Давайте-ка сегодня вместо урока математики проведем урок музыки. Послушаем пластинки с музыкой Чайковского.

— Давайте, — хором отозвался класс.

Впервые в жизни я, замороженный и счастливый, слушал классическую музыку. Ничего не понимая в ней, силится представить, как подсказывала Мария Александровна, будто на улице, высоко в небе, злой черный ворон напал на прекрасного лебедя... Шла борьба между добром и злом, и добро победило. Валерка Гладышев с вытаращенными глазами сидел, как никогда, спокойно, и думал о чем-то своем. Рядом с ним присела учительница, и, видимо, ему тихо внушала: “Слушай музыку, а то вырастишь шалопаем!”. Никто из нас не желал становиться шалопаем, и мы тихо слушали то “Лебединое озеро” Чайковского, то Вальс цветов из его “Щелкунчика”.

Обратная дорога домой в этот раз была самой счастливой в моей жизни. Моя юная душа была покорена непонятной, но такой нежной и необычной музыкой, она пела среди заснеженных полей и березовых перелесков. Еще я

радовался тому, что Василич превратил мои дырявые валенки в самые красивые.

Проходя деревню Вертлово, я нарочно остановился у дома деда Федора Жильцова, желая сказать ему про свою радость и похвастать обувкой. Но тот на улицу не выходил. Я прошелся перед окнами его дома взад-вперед, но он опять не появился. Тогда я запел свою любимую песню, что часто слышал по радио:

*Ямщик, не гони лошадей,
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить,
Ямщик, не гони лошадей.*

Дед Федор занят был, видимо, своими домашними делами. Я написал рукой на снегу возле крыльца слово “Ура!” и помчался домой.

На следующей неделе, в воскресный день, на табуретке Василича лежали потертые, с дыркой на пятке, валенки учительницы.

НА ЛУГУ ОТБИВАЮТ КОСЫ

В полдень деревенское лето пышет жаром, загоня людей подремать в теньке на сеновале. Василич такой отдых не признавал, вытаскивал из сарая наковальню, отбивал косу и говорил соседу так громко, чтобы вся деревня слышала:

— Лето год кормит!

В том году я получил разъяснения от Василича, что крестьянин должен за лето собрать в огороде урожай, насолить огурцов и капусты, лук посушить, варенья из лесных ягод наварить, сена душистого корове накосить, картошки и брюквы свинье и баранам припаси. И летом надо так много и сноровисто потрудиться, чтобы всех припасов хватило на год, а не только на одну зиму.

В этом году у меня к Василичу другой интерес. Вся деревня шепталась: удастся ли доярке Коноваловой заглядеть свою вину перед Василичем и починит, отобьет ли он ей после извинений косу, без которой та не могла приступить к сенокосу? Мужики и бабы уже два дня как выходили на заготовку сена, а она лишь горевала, вытирала слезы и ругала Василича, не пустившего ее на порог дома. Пришла с затупившейся косой, с ней же и ушла.

Претензия у Василича к доярке была нешуточная, давняя. Прошлым летом тетка Маруся Коновалова подкараулила его тещу, несущую домой с совхозного поля две брюквы. И доярки, и телятницы по окончании работы частенько прихватывали с собой сладкую брюкву для своих буренок. Прихватывали не потому, что животину кормить было нечем, а так, ради гостинца. В подобном деле хорошего, конечно, ничего нет. Но какая телятница, видя, как тонны буряка и картошки гниют в буртах, устоит перед тем, чтобы не вытащить один корнеплод и не принести его домой?! Тем более, в своих огородах никто из них буряки не выращивал, а разнообразить питание и угостить сладким свою коровенку хотелось всем. Та же доярка Коновалова не отставала от подруг и тащила корнеплоды вместе с ними. Пойти на стучачество ее подтолкнуло желание трудоустроить на телятник свою родственницу. Мест рабочих там не было. Вот она и решила скомпрометировать тещу Василича, телятницу с большим стажем, уволить ее и на ее место сосватать родственницу. Затея эта прошла без запинки и задоринки. Бригадир сразу, без разбирательства и нравочений, подписал приказ на увольнение.

Деревня осуждала Коновалову, но за глаза, шепотом. Боялись ее взрывного и скандального характера. Поругаться с человеком ей ничего не стоило. Василич тоже долго обходил ее стороной. Но однажды остановился у колонки, где тетка Маруся Коновалова набирала воду, поздоровался. Ни слова больше лишнего не произнес, лишь поприветствовал. Теща с изболевшимся

от случившегося сердцем, видя ту сцену, отругала Василича: “Плохо, когда мужик непроходимо добродушен”.

И когда два дня назад Коновалова притащила Василичу тупую косу с надеждой, что он ее отобьет, как делал это всей деревне, то натолкнулась на полное нежелание. Получив отказ, она пригорюнилась. Тупой косой много травы не натяпаешь. А сенокос в разгаре. Бригадир выделил всем, кто держал коров в деревне, далекую луговину у реки. Тетка Маруся видела, как мужики и бабы уже ездят туда заготавливать сено. “Вдруг выкосят и мою полосу? — думала она. — Чем же я тогда корову зимой кормить буду?!” Совсем тошно доярке стало.

Вечером по деревне разносился веселый перезвон наковальни. Василич готовил косы к утреннему сенокосу. Под ударами его молотка каждое лезвие косы производило свой мелодичный звук. Эти звуки мгновенно живоительно действовали и на меня. Я подошел к Василичу, сидевшему на табуретке посреди лужайки у двора. Перед ним, будто пианино, располагалась наковальня. Сделана она была из дубового кряжа, с вбитым в центр железным штырем с широкой шляпкой. На этой-то шляпке и пели звонкие песни под воздействием молотка литые косы. Завороженный игрой молотка, я долго стоял за спиной Василича.

Тетка Маруся, заслышав знакомый перезвон, взяла косу и задворками, чтобы никто не увидел, пошла к плотнику Николаю Телегину, напарнику Василича по бригаде.

— Выручай, Николушка, — заворковала она. — Спасай меня, бедовую. Василич отказывается отбить косу, а с чем я утром пойду на сенокос?

Плотник Телегин был в курсе беды доярки Коноваловой, потому дал совет без раздумий:

— Иди к Щукину. Он тоже отбивает косы.

— Ходила. Он и за деньги не берется за работу.

— Чем тогда я могу тебе помочь?

— А ты снеси Василичу косу, будто свою. Не говори, что она моя-то...

— Разве так можно? А ежели Василич узнает? Да мне тогда и самому он ни одну косу не отобьет.

В деревне только два мужика отбивали косы — это Василич и слесарь, заведующий водонапорной башней дядя Володя Щукин. Но ежели первый был безотказный, добродушный, то второй — всегда занятый и прагматичный. К тому же мужики табуном шли именно к Василичу, ибо видели, что отбитые им косы остры и легки в работе.

— Нет, тетка Маруся, не обижайся, не могу я тебя выручить, — заартачился плотник Телегин.

— Да чего тебе стоит?! — настаивала доярка Коновалова.

— Да душа к энтому не лежит.

— А я тебе с получки бутылочку поставлю...

Тут Телегин дрогнул, глаза его заблестели, тонкие брови выгнулись дугой. Был он ростом высок, сухощав, лицом тонок... Василич хоть и был его старше, но любил с ним работать в паре. Тот всегда был внимателен к советам Василича, не перечил, не скандалил. За любую работу они брались вместе и старались сделать ее на совесть, чтобы никаких нареканий от начальства не было. Схватил Телегин дрожащими руками косу тетки Маруси и понес ее к Василичу.

В соседних дворах, почуяв человека, начали заливаться злобным лаем привязанные на цепь собаки.

Я обошел Василича вокруг, стараясь понять, каким образом железное лезвие косы становится ровным и таким тонким, что не ломается. По нему каждую секунду стучит молоток, а оно лишь закаляется. Широкий край железа на моих глазах переставал быть железом, превращался в блестящее полотно с зеркальным отливом. Захочешь посмотреть на себя, подымеешь полотно косы к глазам и увидишь свои глаза, лоб, подбородок. Я не раз замечал, как Василич использовал лезвие в качестве зеркала, а еще любил шершавым пальцем осторожно погладить само его острие.

— Василич, а Василич?! — позвал издалека Телегин. — Не отобьешь ли мне и вторую косу? А то одна сломается завтра, не дай Бог, а второй под рукой не окажется.

— Отчего ж не отбить?! — отозвался Василич. — Давай отобью.

Телегин встал, как вкопанный, с косой, один конец которой был воткнут в землю, другой торчал у головы. Ждать пришлось долго, минут десять.

Василич закончил работу, выполнив чей-то заказ, подошел к кадучке с водой, обмыл лезвие, вытер его холщевинной и поставил к стенке двора.

— Что стоишь, давай свою косу, — скомандовал Василич и сел на табуретку.

Телегин учтиво наклонился и передал в руки черенок. Василич взял его и ловко положил себе на плечо, а лезвие — на наковальню. Присмотрелся, приподнял лезвие, потренировал пальцем по острию и после небольшой паузы спросил:

— Это чья коса будет?

— Чья, чья? Моя, конечно, — пробормотал робко и лживо, не поднимая глаз, Телегин.

— Вижу, что не твоя, а Коноваловой.

— С чего ты решил, что Коноваловой, когда она моя?

— А ты посмотри на эту вмятину выше лезвия, у пятки. Я ее полчаса выпрямлял, до конца не смог, лишь уменьшил. Ну, а кольцо на изгибе пятки, а клин — это все моя работа. Я правил Маруське эту косу прошлым летом, свою работу хорошо помню.

— Ладно, твоя взяла, Василич. Подсоби уж ей, бедолаге, выручи, а то без сена останется.

— Нет уж, извини-подвинься, помогать ей не буду, — уперся Василич и вернул косу. — Уходи, у меня еще два срочных заказа.

Телегин постоял-постоял, посучил ногами и удалился восвояси. Зная упрямый характер Василича, он не решился уговаривать его, тем более, совестить.

— Лихо ты его раскусил, быстро как-то, — удивленно покачал я головой. — Неужели и вправду помнишь про недовыпрямленную вмятину?

— Покажи мне любую косу, которую я отбивал, и я ее узнаю, назову хозяина, — гордо отрезал Василич.

— Договорились, завтра принесу, — согласился я на подобное испытание.

Весь вечер я думал, глядя в окно, выходящее в палисадник, где росли колокольчики), у кого взять косу. В голове зудела мысль проэкзаменовать Василича и уличить его в ошибке, в незнании...

Утром, как только по радио заиграли гимн, я вскочил с кровати с мыслью проучить Василича. Но где взять косу, я так и не знал.

Первую вылазку я решил сделать на двор дяди Вани Горяченкова. В дверях сарая сразу натолкнулся на здоровенную собаку. Она повернула голову в мою сторону, и умные сонные глаза впелись в меня. Я протянул руку погладить знакомого Шарика, чтобы он лизнул руку. Но тот вдруг злобно зарычал. Моя рука резко дернулась назад. Собака почувствовала мою трусость и прыгнула к моим ногам. Я замахнулся на нее граблями, что стояли у края двора. Шарик с отчаянным жалобным визгом отскочил.

Вторую вылазку я совершать отказался. Пошел напрямик к старушке Колесовой. Корову она давно сдала на мясо, сено не заготовливала, но косу имела. Я видел, как она выкашивает ею овинники у дома. Выкашивает, чтобы дом не зарастал, и лужок выглядел опрятно и красиво.

Старушка выслушала меня и беспрекословно дала косу. Попросила лишь не сломать и не затупить ее.

Теперь я ждал полдника. Мужики придут с работы и взберутся на сеновал отдохнуть, избавиться от усталости. Василич выгащит на луг наковальню, и молоток его заиграет... Распорядок дня мне хорошо знаком. Василич уходил на сенокос и вечером, и утром. Если вечером покосить удавалось часок, а остальное время он с женой ворошил сено да складировал его, то утром все часы уходили сугубо на косьбу. Для отбивки и наточки косы время можно было изыскать только в полдень. Не будешь же отбивать косу утром, когда все ринутся выбирать траву получше, посочнее.

Вскоре мой час настал.

Василич открыл ворота и выволок на луг наковальню. Почему на луг? Почему не отбивает косу прямо во дворе? И время экономит, и силы... Но у Василича на эти вопросы есть свой ответ: "Косы отбивают на лугу, чтобы солнце в лезвии играло, и молоток звонче играл..."

— Принес косу? — спросил меня Василич, увидев в моих руках чужой инструмент. — Думаешь, я ошибусь...

— В соседнюю деревню за ней бегал, — пошутил я. — Ни за что теперь не отгадаешь.

Василич взял косу и даже не повертел ее в руке, и тем более не положил лезвие на наковальню, вернул обратно.

— Почто обманываешь? — усмехнулся он по-доброму, широко. — Одолжил косу у тетки Тони Колесовой и думаешь провести меня. Нет, дорогой... Эту косу я делал ей давно, у нее еще корова была. Затупилась, конечно. А узнал я ее вот по этой ручке. Обычно мужикам ручки я вдавливаю в черенок, а женщинам делаю их из согнутой ивовой ветки, приматываю, стягиваю веревкой. По черенку их свободно можно двигать, ослабив веревку. А двигают ручки затем, чтобы подогнать черенок под рост человека для удобства косьбы. Тетка Тоня низкого роста, сутулится, вот я ей и продвинул ручку так низко.

Экзамен Василич выдержал на отлично. Рассказал и показал мне, как он приспособил ручку к черенку косы, чтобы старушке было удобнее косить.

— Извини, что глупость сотворил, — повинился я.

— Подумаешь, подурачился... Хорошие люди умеют делать глупости, а вот плохие не умеют, у них слишком все рассчитано и просчитано.

По зеленому лугу пробежал ветерок. Две березы, стоящие с краю, были так высоки, что не почувствовали его порыв, наоборот, от их веток и вершин веяло спокойствием и тишиной.

— Лучше принеси-ка мне мою косу со двора, — попросил Василич. — Вчера я ею камень зацепил. Не заметил в траве. Выбоина на лезвии образовалась.

— Бегу, — крикнул я, и, пристыженный, проигравший, поспешил мимо поленниц во двор.

— Косу найдешь в навозной куче.

— Где?

— Лезвие косы засунуто в середину навоза.

— Зачем оно там?

— В моче железо мягче становится.

Я не знал, пошутил Василич или открыл свой секрет, но без труда нашел косу и принес ее Василичу. Тот вытер ее тряпкой, осмотрел лезвие, потрогал пальцем на ней вчерашнюю зазубрину и пристроил острое железо на наковальню. Помочив в ведре с водой заостренный конец молотка, он стукнул им по лезвию, потом стукнул еще раз, другой... Удары были вначале легкие, частые, а затем тяжелые, медленные и с протяжкой. Причем, молоток и оттяжку отстукивал по концу лезвия разными способами, то влево уходил, то вправо, а чаще глухо застревал и вдавливался посередине. Ловкие движения рук мастера приковывали мой взгляд.

— Нужен молоток потяжелее, — вздохнул Василич, отирая рукавом рубашки вспотевший лоб. — Уж больно с трудом выбоина расплющивается. Вначале железо поддавалось, в навозной жиже пообмякло, послабело, а потом на жаре вновь сопротивляться стало. Поищи другой молоток в ящике. Он такой тяжелый, увесистый, на железной ручке.

Я знал, где находится ящик с инструментом. Он стоял у стены, где размещалось стойло для коровы. Довелось как-то мне держать в руках и тот тяжелый молоток.

Вбежав во двор, я сразу увидел корову, которая тихо жевала, шурша ключьями сена, добываемыми из кормушки. В ее больших глазах не было ни испуга, ни любопытства. Охапка травы лежала на ящике. Сбросив ее, я нашел нужный инструмент, схватил его и пошел на улицу

Рядом с Василичем стояла тетка Маруся Коновалова, одной рукой она подпирала бок, в другой держала косу. До меня донеслись ее жалостливые слова:

— Устал, сердешный?

— Если вкладываешь в дело всю душу, тогда и устал не чувствуешь, — отозвался Василич.

— Забудь обиду-то... Забудь. Ну, попутал меня черт. Больше такое не повторится. Отбей косу, прошу тебя очень... Нельзя мне завтра пропускать сенокос, беда будет...

— Мне до твоей беды дела нет.

— Забудь обиду, — повторила она еще более дрогнувшим голосом, вымаливая прощения и ища защиты.

Я застыл в ожидании: простит Василич обидницу или вновь откажет ей в отбивке косы. Жалости к тетке Маруси я не испытывал, но и бросать ее в беде было как-то нехорошо. Василич наверняка давно забыл бы тот недостойный поступок Коноваловой, но теща, оставшаяся на зиму без работы, напоминала ему о нем.

Молоток продолжал настойчиво выводить на наковальне звонкую мелодию.

— Дзинь-дзинь, зинь-инь...

Коновалова ходила вокруг Василича и несмолкаемо вымаливала прощение. Губы ее, полные и толстые, были так четко вырисованы помадой, что каждый угол рта врезался в щеку. Она не жалела слов.

Василич отвечал ей со своей неизменной, но уже несколько смущенной улыбкой. Характер у него был незлобивый. И тетка Маруся знала, что Василич не умеет обижаться, потому и она не обижалась на него, старалась лишь разжалобить его.

— Ну что мне сделать, чтобы ты не обижался, а выручил меня? Может, мне корову привести сюда? Она-то чем виновата, сдохнет ведь...

Тут сердце Василича дрогнуло.

— Ладно, давай косу, — вспыхнул он. — Раскричалась тут! Надо было меньше языком молотить. Отстучу косу, положу на поленницу, вечером придешь, заберешь. А сейчас скройся с глаз моих. Уходи, видеть тебя не могу.

Коновалова растерянно оглянулась по сторонам, нашла глазами поленницу, кивнула согласно и тотчас ретировалась.

Я протянул Василичу увесистый молоток. Как только он его взял, на крыльце дома появилась рассерженная теща. Она, видимо, наблюдала из окна сцену общения зятя с дояркой Коноваловой.

— Вижу-вижу, мужик у нас точно непроходимо простодушен, — сказала теща мягко, но ядовито посмеиваясь.

— Да что тебе, жалко, что ли, — начал оправдываться Василич. — Она прилипла, как банный лист. Корову грозит привести...

— Мне не жалко, а тебе, вижу, жалко. Ладно, делай, что хочешь.

Теща хлопнула дверью. Наверняка ее исстрадавшаяся душа переболела. Василич ударил по лезвию косы тяжелым молотком.

— Здорово, пошло железо, поползло, — забормотал он.

С уставшего лица Василича исчезла гримаса негодования. В одну секунду оно озарилось солнцем, морщины разгладились, взгляд потеплел. Он говорил со мной хорошо, ровно, не торопясь. А я продолжал любоваться его работой и представлял себе, как завтра за окном заголубеет рассвет, послышатся голоса петухов в теплом летнем воздухе, и Василич с косой на плече уйдет легким шагом на сенокос...